

Посвящается Энтони Клири

КНИГА I

За всяким большим состоянием
кроется преступление.

Бальзак

ГЛАВА I

Америго Бонасера сидел в Третьем отделении уголовного суда города Нью-Йорка, дожидаясь, когда свершится правосудие и возмездие падет на головы обидчиков, которые так жестоко изувечили его дочь и пытались над нею надругаться.

Судья, внушительный, важный, подпернул рукава своей черной мантии, словно бы вознамерясь собственноручно разделаться с двумя юнцами, стоящими перед судейским столом. Тяжелое лицо его застыло в высокомерном презрении. И все же сквозила во всем этом некая фальшь, Америго Бонасера чуял ее нутром, хотя пока еще не мог осмыслить, в чем дело.

— Вы поступили как последние подонки, — резко сказал судья.

Да, думал Америго Бонасера, да, именно. Скоты. Животные. Юнцы — глянцевого шевелюры модно подстрижены, на умытых, гладких мордах постное смирение — покаянно понурили головы.

Судья продолжал:

— Вы вели себя как звери в лесу — ваше счастье, что вам не удалось обесчестить бедную девушку, не то отправил бы я вас за решетку на двадцать лет. — Он выдержал паузу, мазнул лисьим взглядом из-под сурово насупленных бровей по изжелта-бескровному лицу Америго Бонасеры, нагнулся к столу со стопочкой судебных решений. Потом нахмурился еще сильнее, пожал плечом, как бы превозмогая естественный гнев перед лицом необходимости, и закончил: — Однако, принимая во внимание ваш возраст, вашу не запятнанную прежде



репутацию и доброе имя ваших родителей, а также учитывая, что закон, в неизреченной мудрости своей, не призывает нас к мести, я приговариваю каждого из вас к трем годам тюрьмы. Условно.

Лишь сорокалетняя профессиональная привычка управлять своей мимикой дала силы похоронщику Бонасере скрыть прилив негодования и злобы. Его дочка, юная, хорошенькая, еще лежит в больнице со сломанной челюстью, а этим скотам, этим animales, позволяют гулять на свободе? Значит, перед ним ломали комедию. Он смотрел, как сияющие родители сбились тесной кучкой возле своих ненаглядных чад. Еще бы им не сиять, им есть чему радоваться.

Едкая горечь подступила к горлу Бонасеры, рот за стиснутыми зубами наполнился кислой слюной. Он выдернул из нагрудного кармана полотняный белый платок и прижал к губам. Так и стоял, когда те два молодчика, бесстыжие, наглые, с усмешечкой прошли мимо по проходу и даже не взглянули в его сторону. Он пропустил их без единого звука, только крепче зажал себе рот крахмальным платком.

Следом прошли родители — двое мужчин и две женщины, одних лет с Бонасерой, только одеты как коренные американцы. Эти на него поглядели — сконфуженно, но и с вызовом, с каким-то затаенным торжеством.

Не в силах сдерживаться, Бонасера подался вперед к проходу и хрипло прокричал:

— Вы у меня еще поплачете, не мне одному лить слезы — еще наплачетесь от меня, как я наплакался от ваших деток!

Адвокаты, шедшие следом за своими клиентами, подтолкнули их вперед, юнцы, в стремлении заслонить родителей, отступили назад; в проходе образовалась пробка. Огромный судебный пристав проворно двинулся загородить собою выход из того ряда, где стоял Бонасера. Но это оказалось излишним.

Все эти годы, прожитые в Америке, Бонасера веровал в закон и порядок. Того держался, тем и преуспел. И сейчас, хотя у него мутилось сознание от дикой ненависти, ломило в затылке от желания кинуться, купить оружие, застрелить



этих двух мерзавцев, Бонасера повернулся к своей ничего не понимающей жене и объяснил:

— Над нами здесь насмеялись.

Он помолчал и, решившись окончательно, уже не думая, во что ему это обойдется, прибавил:

— За правосудием надо идти на поклон к дону Корлеоне.

В Лос-Анджелесе, среди кричащей роскоши гостиничного люкса, Джонни Фонтейн глушил виски, как самый заурядный обманутый муж. Развалясь на красном диване, он пил прямо из горлышка и, чтобы отбить вкус, сосал талую воду, макая лицо в хрустальное ведро с кубиками льда. Было четыре часа утра, и его пьяному воображению мерещилось, как он будет расправляться со своей блудной женой, когда она вернется. Если она вообще вернется. Слишком поздно, а то недурно бы звякнуть первой жене, узнать, как поживают его дочки, — звонить друзьям его что-то не тянуло с тех пор, как дела пошли скверно. Было время, когда им лишь польстило бы, вздумай он позвонить в четыре утра, в восторг пришли бы; теперь нос воротят. А ведь подумать только, до чего близко к сердцу принимали невзгоды Джонни Фонтейна самые блестящие кинозвезды Америки, когда он шел в гору. Даже забавно.

Снова припав к бутылке, он услышал наконец, как жена поворачивает ключ в двери, но не отрывался от горлышка, куда она не вошла в комнату и не стала перед ним. Такая красивая, с ангельским личиком, томными фиалковыми глазами, хрупкая, тоненькая, с точеной фигуркой. Миллионы мужчин во всем мире влюблялись в лицо Марго Эштон. И платили за то, чтоб увидеть его на экране.

— Где шаталась? — спросил Джонни Фонтейн.

— Так, трахалась на стороне, — сказала она.

Она неверно рассчитала, он был не настолько пьян. Перемахнув через журнальный столик, он сгреб ее за ворот платья. Но когда к нему приблизилось вплотную это волшебное лицо, неповторимые глаза, вся его злость иссякла, он размяк. Она насмешливо скривила губы — и опять просчиталась: Джонни занес кулак.



— Только не по лицу, Джонни, — взвизгнула она, — я же снимаюсь!

И все это сквозь смех.

Удар пришелся ей в солнечное сплетение; она упала. Он навалился сверху, и она задохнулась, обдавая ему лицо своим сладостным дыханием. Он осыпал тумакami ее плечи, бока, загорелые шелковистые бедра. Тузил ее, как когда-то давно, уличным сорвиголовой, дубасил нахальных сопляков в «адской кухне» трущобного Нью-Йорка. Больно, зато без серьезных увечий вроде выбитых зубов или сломанной переносицы.

И все же он бил ее вполсилы. Не мог иначе. И она открыто куражилась над ним. Распластанная на полу, так что парчовое платье задралось выше пояса, она хихикала, поддразнивая его:

— Ну, давай, Джонни, иди ко мне. Вставляй ключ в скважину, тебе ведь только того и надо.

Джонни Фонтейн встал. Убить ее мало, эту тварь, неуязвимую за броней своей красоты. Марго перекадилась на живот, упругим прыжком вскочила на ноги и, пританцовывая, кривляясь как девчонка, пропела:

— А вот и не больно, вот и не больно.

Потом серьезно, с печалью в обольстительных глазах, прибавила:

— Балда несчастная, весь живот отдал, прямо как маленький. Эх, Джонни, век тебе оставаться слюнявым теленком, ты и в любви-то смыслишь не больше малолетка. До сих пор воображаешь, будто женщины с мужчинами и впрямь занимаются тем, про что ты мурлыкал в своих песенках. — Она покачала головой. — Бедненький. Ну, будь здоров, Джонни.

Она вышла в спальню, и он услышал, как щелкнул замок.

Джонни сел на пол и закрыл лицо руками. От обиды, от унижения его охватило отчаяние. Но недаром он был выкормыш нью-йоркских трущоб, старая закваска, которая помогла ему когда-то выжить в дремучих джунглях Голливуда, заставила его теперь снять трубку и вызвать такси, чтобы ехать в аэропорт. Один человек еще мог его спасти. Нужно было лететь в Нью-Йорк. К этому человеку — единственному, у кого он найдет силу и мудрость, которых ему сейчас так недостает,



и любовь, которой еще можно довериться. К его крестному отцу, дону Корлеоне.

Пекарь Назорин, кругленький и румяный, как его пышные итальянские хлебы, все еще припудренный мукой, обвел грозным взглядом свою жену, дочь Катарину, засидевшуюся в невестах, и Энцо, работника своей пекарни. Энцо успел переодеться в форму военнопленного, не забыв нарукавной повязки с зелеными буквами ВП, и стоял теперь, маялся, боясь опоздать к вечерней поверке на Губернаторов остров. Подобно тысячам пленных итальянцев, которых каждый день отпускали под честное слово на работу к хозяевам-американцам, он жил в вечном страхе, как бы не лишиться этой поблажки. И потому нехитрый фарс, который разыгрывался сейчас, был для него делом серьезным.

— Семейю мою вздумал опозорить? — прорычал Назорин. — Подарочек подкинуть на память моей дочке? Поскольку войне конец и Америка, нетрудно сообразить, даст тебе под зад коленом, чтобы мотал восвояси на Сицилию блох считать в деревне, — так, что ли?

Энцо, коротконогий крепыш, прижал руку к сердцу, чуть не плача, но все же не теряя головы:

— Padre, клянусь Святой Девой, не отвечал я злом на вашу доброту. Я люблю вашу дочь, но со всем моим уважением. И со всем уважением вас прошу, отдайте ее за меня. Я не имею права просить, это верно, но, если меня отошлют в Италию, мне уж в Америке не бывать. И я никогда не смогу жениться на Катарине.

Жена Назорина, Филомена, не стала тратить слов понапрасну.

— Брось дуришь, — обратилась она к толстяку мужу. — Тебе известно, что надо делать. Не отпускай Энцо никуда, отправь на Лонг-Айленд к нашей родне, пусть укроют его покуда.

Катарина плакала навзрыд. Уже дебелая, с пробивающимися усиками, она не могла похвастать красотой. Где еще она добудет себе в мужья такого видного парня, как Энцо? Кто



другой будет трогать ее за потаенные места так бережно и любовно?

— Вот уеду жить в Италию, будете знать! — крикнула она отцу. — Не оставите Энцо — сама с ним сбегу!

Назорин скосил на нее хитрющие глазки. Лихая штучка эта его дочечка. Видел он, как она норовит прижаться к Энцо сдобным крупом, когда работнику нужно протиснуться за ее спиной к прилавку и выложить в корзины горячие, прямо из печи, батоны. Пора принимать меры, не то — Назорин позволил себе отпустить мысленно скабрзность, — не то этот мошенник протиснется к ней в печь со своим горячим батоном. Надо оставить Энцо в Америке, добыть ему американское гражданство. И есть лишь один человек, который может обстряпать такое дельце. Крестный отец. Дон Корлеоне.

Каждый из этих троих людей и еще многие другие получили тисненное золотом приглашение пожаловать в последнюю субботу августа 1945 года на свадьбу мисс Констанции Корлеоне. Отец невесты, дон Вито Корлеоне, никогда не забывал своих старых друзей и соседей, хотя сам обитал теперь в огромном особняке на Лонг-Айленде. Туда и соберутся гости, и, уж конечно, веселье затянется на целый день. То-то будет потом что вспомнить! Война с Японией как раз закончилась, и гложущий страх за сыновей, ушедших на фронт, уже не омрачит людям этот праздник. А свадьба — самый подходящий повод дать волю своей радости.

И вот, когда настало это субботнее утро, из города Нью-Йорка потоком хлынули друзья дона Корлеоне, дабы почтить своим присутствием его семейное торжество. Каждый вез с собою свадебный подарок: плотный конверт, туго набитый банкнотами; чеков не было. Визитная карточка, вложенная в конверт, удостоверяла личность дарителя и меру его уважения к дону Корлеоне. Уважения, поистине заслуженного.

Дон Вито Корлеоне был человеком, к которому обращался за помощью всякий, и никому не случалось уходить от него ни с чем. Он не давал пустых обещаний, не прибегал к жалким отговоркам, что в мире-де есть силы, более могущественные, чем он, — что у него связаны руки. При этом



вовсе не обязательно, чтобы он числился у вас в друзьях, не важно даже, если вам нечем было отблагодарить его за помощь. Одно лишь требовалось. Чтобы вы, вы сами объявили себя его другом. И тогда, как бы ни был сир и убог проситель, дон Корлеоне относился к его невзгодам как к своим собственным. И уже не было таких преград, чтобы помешали ему поправить беду. А что за это? Дружба, почетное звание «дон» и изредка — родственно-теплое обращение «Крестный отец». Ну, еще разве что какое-то скромное подношение: бутылка домашнего вина, корзина сдобных, наперченных коржей *taralles*, испеченных специально к его рождественскому столу, — единственно в знак почтения, никоим образом не в виде материальной компенсации. Разумеется, как того требовала простая вежливость, не обходилось без заверений, что вы — его должник и он вправе в любое время рассчитывать на ответную посильную услугу.

Сейчас, в этот знаменательный день — день свадьбы его дочери, — дон Вито Корлеоне стоял в дверях своего приморского особняка на Лонг-Айленде, встречая гостей; всяк из них был хорошо ему знаком, всякий пользовался его доверием. Не один был обязан дону своим житейским благополучием и на этом домашнем празднестве без стеснения называл его «Крестный отец». Здесь все были свои, даже те, кто обслуживал торжество. За стойкой бара занял место старый товарищ, чей свадебный дар составляло не только все, что подавалось из спиртного, но также и собственные профессиональные услуги. Роль официантов исполняли друзья хозяйских сыновей. Угощение, расставленное по столам в саду, готовили супруга дона Корлеоне и ее приятельницы, невестины подружки развесили по громадному парку яркие гирлянды украшений.

Кто бы ни был гость, богач или бедняк, сильный мира сего или скромнейший из скромных, дон Корлеоне каждого принимал с широким радушием, никого не обойдя вниманием. Таково было его отличительное свойство. И гости так дружно восклицали, что смокинг ему к лицу, так ахали на все лады, что неискушенному наблюдателю немудрено было бы принять самого дона Корлеоне за счастливого молодожена.



Рядом с ним стояли в дверях двое из троих его сыновей. На старшего, по имени Сантино, которого все, кроме родного отца, называли Санни, «сынрок», степенные итальянцы поглядывали косо, молодежь — с восхищением. Для италоамериканца в первом колене он был высок ростом — добрых шесть футов — и казался еще выше из-за пышной копны курчавых волос. Лицо его напоминало грубую маску Купидона: черты правильные, но губы, изогнутые, точно лук, — плотоядно чувственны, крутой подбородок с ямкой странным образом вызывал смутно непристойные ассоциации. Могучий, налитой бычачьей силой, он был — общеизвестный факт — столь щедро одарен природой в части мужских достоинств, что многострадальная жена его страшилась брачного ложа, как безбожник в стародавние времена страшился дыбы. Когда он, как о том шептались люди, захаживал, бывало, в молодые годы в нехорошие заведения, то даже самые прожженные и бесшабашные из putain, узрев с невольным содроганием его исполинский орган, требовали себе двойной оплаты.

Теперь, на свадебном пиру, не одна замужняя итальяночка, крутобедрая, большеротая, мерила Санни Корлеоне уверенным, оценивающим взглядом. Но сегодня молоденькие гости напрасно тратили время. Сегодня у Санни Корлеоне, несмотря на присутствие жены и трех малых детишек, были другие виды — виды на Люси Манчини, лучшую подругу невесты. О чем подруга невесты, сидящая за столом в саду в вечернем розовом платье и с диадемой из живых цветов в лоснистых черных волосах, прекрасно знала. Всю эту неделю, пока шли приготовления к свадьбе, она кокетничала с Санни напрапалую, а нынче утром у алтаря крепко пожала ему руку. Незамужняя девушка большего не могла себе позволить.

Что ей было за дело, если он никогда не сравняется в величии со своим отцом, не достигнет того же. Зато Санни Корлеоне сильный и храбрый. Зато он щедр, и душа его, по общему признанию, не уступает размерами причинной части его тела. Правда, в отличие от своего уравновешенного родителя он вспыльчив и несдержан и потому способен на опрометчивые суждения. И хоть оказывает большую помощь отцу в его



делах, многие сомневаются, чтобы дон Корлеоне сделал его своим преемником.

Средний сын, Фредерико — в обиходе Фред или Фредо, — был чадом, о каком всякий итальянец может только молить святых. Почтительный, преданный, во всем послушный воле отца, он в свои тридцать лет все еще жил одним домом с родителями. Коренастый и плотный, он был некрасив, хотя и сохранял фамильные черты сходства с Купидоном: тот же шлем курчавых волос над круглым лицом, тот же крутой изгиб чувственного рта. С тою разницей, что у Фредо ему скорее подходило слово «каменный». Этот хмурый молчун был истинной опорой отцу, ни словом ему не перечил, никогда не досаждал скандальными похождениями с женщинами. Однако при всех своих достоинствах он был лишен той притягательной животной силы, той гипнотической способности подчинять, какая столь необходима вожаку, — вот почему и Фредо тоже не прочили в преемники дона Корлеоне.

Третьего сына, Майкла Корлеоне, рядом с отцом и братьями не было, он сидел за одним из столов в самом глухом уголке сада. Но даже там не мог укрыться от любопытных взглядов.

Майкл Корлеоне был младшим из сыновей дона — и единственным, кто не признавал над собою воли своего всесильного родителя. Ему, в отличие от других детей в семье, не досталось ни массивных черт лица, ни сходства с Купидоном, а его смоляные гладкие волосы лежали прямыми прядями и не курчавились. Его чистой, оливково-смуглой коже позавидовала бы иная девушка. Да и вообще по тонкости письма красота его не уступала девической, и было время, когда дон тревожился, вырастет ли его младший сын настоящим мужчиной. В семнадцать лет Майкл Корлеоне рассеял отцовскую тревогу.

Сегодня этот младший сын занял место за самым дальним столом, нарочито подчеркивая свое отчуждение от отца и родной семьи. Рядом сидела его девушка, коренная американка, которой до этого случая никто не видел, хотя слышали о ней все. Майкла не приходилось учить хорошим манерам — он